



Ю. И. АЙХЕНВАЛЬД

Салтыков-Щедрин

Сам Щедрин не завещал себя новым поколениям. Он так об этом говорит: «...писания мои до такой степени проникнуты современностью, так плотно прилаживаются к ней, что ежели и можно думать, что они будут иметь какую-нибудь ценность в будущем, то именно и единственно как иллюстрация этой современности»¹.

Прав он в значительной мере, но не всецело. Самородок своего таланта Щедрин, действительно, разменивал на такую публицистику, которой по самым условиям ее природы не суждена долговечность. Слишком современный, он переполнял свои страницы злобою русского дня, пересыпал их намеками, уколами, рисовал определенные портреты и называл реальные собственные имена. Оттого многое у него теперь непонятно и неинтересно без комментария; к его тексту часто необходимы подстрочные примечания.

Таков, однако, не весь Щедрин. В том, что от него остается и останется, в ценных долях своего непомерно обильного писательства, он раньше всего производит впечатление силы. Он — крепкий, терпкий; его не забудешь, если хоть раз отведаешь от его суровой трапезы. Есть что-то в его даровании сердитое и строгое. Можно не любить Салтыкова, но с ним нельзя не считаться. Не только автор, но и авторитет, он в литературе — какой-то «сам»; и если бы в своей частной жизни он был самодуром, то это бы только соответствовало его художническому облику. Странное дело: читатель его почти боится, как-то робеет в его присутствии, ставит себя в положение его героев, а они-то уж, наверное, имеют все основания трепетать перед ним. Писатель-начальник, привередливый и требовательный, взыскательный и беспощадный, язвительный и придирчивый, Салтыков — брюзга. Он в разные эпохи жил и всеми эпохами был недоволен. Он пропустил мимо себя много людей и почти никого не похвалил. От него больно достается. Прирожденный сатирик, бесцеремонный и циничный, он — мастер насмешки, седой «великий мастер» масонской сатирической ложи.

При этом Щедрин, как и подобает его сану, собственно, не шаржирует. Его гиперболизм — естественный, не больший, чем тот, какого требует самый стиль сатиры. Его увеличительное стекло преувеличивает в меру своего назначения. Справедливо отклоняет он упреки в карикатурности: «карикатур нет... кроме той, которую представляет сама действительность». Конечно, на ловца и зверь бежит; и Щедрин,ловец специфический, видел только то, что мог видеть, — и, несомненно, к свойствам его таланта приспособлялись факты, к зрению — зрелище; но во многом был он прав и правдив, и порою неизвестно было, что к чему иллюстрация: Салтыков ли к русской жизни или русская жизнь к Салтыкову. К тому же его сатира не узка — слишком не узка: даже меньшей надо было бы ей пожелать многосторонности.

В самом деле, он по преимуществу ополчается на гнусность и пошлость чиновничества, на те особенности быта, которые обуславливаются пороками власти и властью беззакония; у него Угрюм-Бурчеев и его предшественники, его преемники, его товарищи и подчиненные выступают на фоне такого пейзажа, где над пустыней вместо неба нависает «серая солдатская шинель»; у него — всякие помпадуры, простые и «чрезвычайно вышитые», и он в самых различных вариациях изображает наших национальных героев, «Сидорову козу и Макара, телят не гонящего»; вообще, население его книг так плотно, столько у него человеческих образцов, такая у него пышная кунсткамера, что этот музей Щедрина едва ли оставляет незаполненной хоть бы одну рубрику, хотя бы одну полочку официальной русской патологии, — скорее здесь избыток и повторения. Но в то же время от своей едкости щедро уделяет сатирик и обществу; не одни бюрократические пастыри, но и пасомые служат мишенью для его метких стрел. Те, кто литератора Крамольникова, попавшего в беду, робко чураются; те либералы, которые свой либерализм тратят экономно и «применительно к подлости»; рыцари пустословия и «обильного словотечения» — все они в руках Салтыкова побывали. У него много презрения, и в конце концов не разбираешься в круговой поруке жизни, кто больше этого презрения заслуживает — жрецы или жертвы начальнической формулы: «обыватель всегда в чем-нибудь виноват». «Говорят, что я изображаю в смешном виде русских консерваторов... но тут же рядом и в столь же неудовлетворительном виде я изображаю и русских либералов» — так определяет сам автор то обвинение в «двоедушии», которое ему не раз приходилось выслушивать и которого он, разумеется, не принимал. Оттого не принимал, что его резкость «имела в виду не личности, а известную совокупность явлений, в которой и заключается источник всех зол»; оттого не принимал, что, даже обличая, по-видимому, самого

читателя, он на деле-то видел в нем «жертву общественного темперамента, необходимую мне (Щедрину т. е.) совсем не для потасовки, а только в качестве иллюстрации этого последнего». Очень далекий от индивидуалистического мирозерцания, до мозга костей проникнутый общественностью, Салтыков именно в ее почве искал корней для тех явлений, которые живописал. Пословицу «Было бы болото, а черти будут» он признавал «настолько правильной, что никаких вариантов в обратном смысле не допускал». «Воистину болото родит чертей, а не черти созидают болото» — вот его заветное убеждение. И поэтому он должен был рисовать не только шапку и того вора, на котором она горит, но и Сеньку — «по Сеньке и шапка». И поэтому также он дал замечательные хроники «Господ Головлевых» и «Пошехонской старины», где и показал то юридическое крепостничество, из которого только и могло здесь же вырасти крепостничество психологическое, надолго отравившее собою всю Россию. Так переплетаются у Щедрина, в родственном сближении, элементы официальный и обывательский; в жизни большей прочности этого соединения много способствовал, по мысли автора, тот золотой мост взятки (иногда и серебряный), который «уничтожал преграды и сокращал расстояния, прекращал бюрократический индифферентизм и делал сердце чиновника доступным для обывательских невзгод». Благодаря этой своеобразной доступности неистребим отечественный лик Держиморды, и Щедрин, вообще продолжатель Гоголя, усматривал первобытного полицейского и под самой новейшей бюрократической оболочкой; он даже считал русскую бюрократию «неразрешимой психологической загадкой», потому что, собственно, сделаться настоящей бюрократией она ни под каким видом не хочет. «Еще на глазах у начальства она туда и сюда, но как только начальство за дверь — она сейчас же язык высунет и сама над собою хохочет. Представить себе русского бюрократа, который относился бы к себе самому, яко к бюрократу, без некоторого глумления, не только трудно, но даже почти невозможно. А между тем бюрократствуют тысячи, сотни тысяч, почти миллионы людей. Миллион ходячих психологических загадок! Миллионы людей, которые сами на себя без смеха смотреть не могут, — разве это не интересно?» И как бюрократы не уважают своего дела, как им свойственна «административная проказливость», так и в противоположном лагере находит Щедрин людей, которые тоже страдают отсутствием цельности, самоуважения и по существу представляют собою лишь другую, оборотную сторону все той же казенной медали.

Этот широкий захват, во всяком случае, свидетельствует, что щедринская сатира и широко задумана; и потому прощаешь ей

то злоупотребление смехом, в котором она, без спору, очень повинна. Кроме того, в лучших своих произведениях Салтыков достаточно обнаружил, что и смех его шел из глубины, был грудной, не дребезжащий, нередко горький, всегда, как мы уже отметили, сильный; а сила, даже когда она — праздная, внушает к себе уважение просто как возможность. Щедрин часто смеялся смехом художника. Такие слова, такие сочетания слов, такие ситуации придумывал он, что занял собою одну из вершин эстетической комики. Не сплошь, но в общем он — истинный и большой художник. Не тонка соль его смеха, но в самой грубости своей она прекрасна. Не благодушный, не снисходительный, иногда убийственный, Щедрин из арсенала насмешки выбрал именно такую маску смеха, которая к лицу, к грубому лицу его персонажей; они лучшего и более тонкого не заслуживают, с ними и нельзя стесняться. «Ерошка-маляр» намалюет баканом на лице его итальянский пейзаж с надписью «извержение Везувия» — это при всей изысканности сказано беззастенчиво, и все-таки это подходит к поклоннику Ерофеича, Брошки-маляра.

О художественности Щедрина говорит самый язык его страниц. Удивительно русский — этот язык. Вольной, широкой, полноводной струей льется его богатая словесность. И уже она оправдывает Салтыкова. Чтобы быть сатириком, надо иметь на это право — т. е. надо доказать, что тому, над чем ты смеешься, ты все-таки родной, а не стоишь около смешного, как досужий любопытный, которому смеяться ничего и не стоит, который от этого никакой нравственной боли и не испытывает. Серьезна и трагична фигура только такого эмигранта, который ощущает тоску по родине. Сатирик — что эмигрант: находясь за пределами своих осмеяний и описаний, он в то же время родственно с ними связан. Он не нравственный чужеземец, из уст которого слышать насмешку над родным было бы нестерпимо. Так вот, что Щедрин — эмигрант тоскующий, не чужак, а свой; что он не над самим Ноем, не над самой родиной смеется, — это и подтверждает лучший из доказчиков, естественный и неоспоримый свидетель — язык. Из самых недр народного духа течет река его речи, клад для Даля, и слово унаследовал он от великого русского Ноя, от великорусского отца. Кто так пишет, кто владеет этой стихийной россыпью языка, тот проявляет свою глубокую заинтересованность родной стороною, ее недугами и надеждами.

Даже ландшафт родины дорог ее сыну, ее писателю. По ее лесу «летает и поет птица-ворона, издавна живущая в разладе с законами гармонии», и все в ней туманно и серо, «а тем не менее, я люблю ее». «Я люблю эту бедную природу, потому что, какова она ни есть, она

все-таки принадлежит мне: она сроднилась со мной точно так же, как я сжился с ней; она лелеяла мою молодость... Перенесите меня в Швейцарию, в Индию, в Бразилию, окружите какую хотите роскошной природой, накиньте на эту природу какое угодно прозрачное и синее небо, — я все-таки везде найду милые мне серенькие тоны моей родины, потому что я всюду и всегда ношу их в моем сердце, потому что душа моя хранит их, как лучшее свое достояние». И Салтыков, искусный живописец природы, дал в этой сфере высокие образцы; и скорее это уже не самому себе, а нашей действительности обязан он тем, что при наступлении осени возникает у него, среди словесного пейзажа, такая неожиданная ассоциация: «везде жужжат мириады пчел, которые, как чиновники перед реформой, спешат добрать последние взятки». Так — «унылая пора, очей очарованье», и вдруг — чиновники, взятки, русская проза...

Затем, пристальнее вглядываясь в Щедрина, мы замечаем, что он похож на тех мастеров, которые при помощи одного и того же инструмента умеют производить и самые топорные, и самые тонкие работы. Тягостное дело сатиры, ее желчь и оцет не погубили в нем других сторон духа и художества. Он — сатирик-лирик. Прекрасны его отступления, в которых, после насмешки, так симпатично звучит серьезный и задушевный тон. Приостанавливается рассказ, начинается размышление, — комика отошла куда-то назад, и писатель показывает свое настоящее лицо; сразу на новый и еще более внимательный лад перестраивается и душа читателя. К нему же и вызывает Щедрин. Как привлекательны эти воззвания к «другу-читателю» и вообще волнующие слова Щедрина о литературе! Она для него — живое звено между его душой и всей остальной Россией. Когда он говорит о себе: «Болен я — могу без хвастовства сказать — невыносимо. Недуг впился в меня всеми когтями и не выпускает из них. Руки и ноги дрожат, в голове — целодневное гудение, по всему организму пробегает судорога...» — никому в голову не придет, в сердце не придет, посетовать на этот самобюллетень или подумать о неуместности фамильярных излияний: нет, читатель, друг-читатель, действительно сроднился со своим писателем, и ему интересно здоровье последнего. К тому же веришь Щедрина даже в той его гиперболической, но добросовестной жалобе, когда на свой вопрос: «что привело меня к этому положению?» — он, «не обинуясь и уверенно», отвечает: «писательство». «Ах, это писательское ремесло! Это не только мука, но целый душевный ад. Капля по капле сочится писательская кровь, прежде нежели попадет под печатный станок. Чего со мной не делали! И вырезывали, и вырезывали, и перетолковывали, и целиком запрещали,

и всенародно объявляли, что я — вредный, вредный, вредный». В диагностике русских болезней нашел Салтыков один «особливый, свойственный только литератору» недуг, именно «цензурные сердцебиения». Он ими болел, он страдал от литературы, но и любил ее горячо, проникновенно, неизменно. Эта любовь — пафос его жизни, самое чистое в его угрюмом сердце. «Не будь у меня этого убеждения, этой веры в литературу, в ее животворящую мощь — мне было бы больно жить. Лично я обязан литературе лучшими минутами моей жизни, всеми сладкими волнениями ее, всеми утешениями; но я уверен, что не я один, лично обязанный, а и всякий, кто сознает себя человеком, не может не понимать, что вне литературы нет ни блага, ни наслаждения, ни даже самой жизни». Всем текстом своих сочинений доказал Щедрин, что его устам была чужда пустая чувствительная фраза; поэтому так радостно читать его гимны русской литературе, его завещание сыну: «паче всего люби родную литературу, и звание литератора предпочитай всякому другому». Да, пусть литературу понимал и принимал он односторонне, все-таки была она для него самым серьезным делом и заботой; недаром он продолжал ее и в том смысле, что появляются в его собственных произведениях герои других авторов — Молчалин, Волохов, Рудин, Лаврецкий и еще, и еще.

Итак, он лиричен, этот строгий Щедрин. Он даже среди своих «Губернских очерков», прерывая серую канитель чиновничьих типов, о своей первой любви вспомнит и, в ужасе от ощущения провинциальной скуки, из глубины души воскликнет: «Где я, где я, Господи?!» В этой душе жили утонченные настроения; она гораздо богаче, сложнее, многообразнее, чем это кажется сначала.

В ней играли нервы, и на чутких нервах-струнах осуществлялась порою очень нежная, прямо чеховская музыка. Тоска деревни «среди серых испарений осени», когда — «облака, облака и облака весь день»; и женское горе, обида девушки, «Христовой невесты»; сельская учительница, которая покончила с собою; сирота, вечная институтка, обреченная классная дама, которая другую, младшую сироту, тоже навеки предназначенную институту, печально утешает: «вот придет весна, распустятся аллеи в институтском саду; мы будем вместе с вами ходить в сад во время классов, станем разговаривать, сообщать друг другу свои секреты»; весной умирающая от чахотки девушка и ее мать в сумасшествии запоя; старушка с ридикюлем в руках, горестная, нищая, эта «непременная принадлежность главного казначейства»; вянущая в провинции дочь губернатора княжна Анна Львовна, на любовь которой неудачный избранник ее осмеянного сердца, чиновник, отвечает просьбой о месте станового; юноша Разумов, который узнает,

какую роль его старый отец, тайный советник, играл в политической полиции, и не смеет осуждать его, и не может не любить его, и развязывает всю эту путаницу своею смертью; и пожар в деревне, и крестьянка, у которой сгорело дитя; и добрая Пелагея Ивановна, которую автор «ужасно любит» за то, что она для «несчастненьких», для арестантов, заготавливает куличи и пасхи, окрашивает сотни яиц, и которая, наверное, в молодости была красавица, потому что «женщина с истинно добрым сердцем, по мнению моему, должна, непременно должна быть красавицей»; и богомолка Пахомовна, которая бредет, упорно бредет своим путем-дороженькой и которой уготован сладкий отдых в царстве небесном, с «Асаком-Обрамом-Иаковым», — все это и многое другое сделано у Щедрина так чутко и ласково, все это так человечно и тепло, что преобразует темную и жесткую работу сатиры и в новом свете показывает нашего сердитого изобличителя. Он — сердитый, но и сердечный. Так дорого, что он всегда заступает за детей (ведь и «пропавшая совесть» вошла в ребенка и будет расти вместе с ним); в старости Щедрин вспоминает о детстве и так сокрушается, что «сонливые и бессильные, высыплют массы юношей и юниц из школы на арену жизни, сонливо отбудут жизненную повинность и сонливо же сойдут в преждевременные могилы». Вообще, у него — зоркая душа, внимательная, не занесенная илом привычки. И перо его становится одухотворенным, деликатным, когда оно касается тонких сюжетов и рисует горькие человеческие судьбы.

Та грубость и грязь, с которой поневоле приходится иметь дело сатирику, не помешали Салтыкову остаться идеалистом. Когда он говорит о своей потребности вознести сердце горе (*sursum corda*), он говорит утешающую правду. Идеалист и мыслитель, некто больший, чем специалист сатиры, Щедрин жил не только на плоскости; выдающийся психолог, он принадлежит к плеяде наших высоких художников. Его «Пошехонская старина», этот эпос русского крепостничества, портретная галерея незнатных предков, его «Господа Головлевы», иные из его «Губернских очерков», рассказов и сказок представляют собою большую и не достойную забвения словесную драгоценность; там есть страницы, которые поднимаются до истинного трагизма и оставляют глубокое впечатление. Еще раз отметим: чеховской нежностью запечатлены некоторые сцены, и участь двух девушек, Анниньки и Любиньки, воплощена в неотразимую элегию. Аннинька, приезжающая на бабушкину могилу, останется навсегда в кругу страдальческих женских образов, и траурной мелодией постоянно будут звучать в нашей литературе ее слова, слова несчастной актрисы, замученной женщины: «Умирать я приехала к вам, дядя!»...

А этот дядя, этот Иудушка, Порфирий Головлев! Пусть черты его написаны сгущенной краской, но в общем его жуткая фигура составляет одно из мрачных украшений нашего искусства. И замечательно, что Салтыков, этот смеявшийся трагик, исполнил и последнее требование возвышенной поэтики: он разрешил трагедию светлой нотой примирения. Можно ли, в самом деле, забыть страданием исполненный вопль — вопрос той же Анниньки: «Дядя, вы добрый? Скажите, вы добрый?»... Он не добрый, конечно, этот ужасный Иудушка; он столько смертей вызвал, и это из-за него так страшно умерли его сыновья, его братья, — нет, он не добрый; но Щедрин показывает, что, пустотою своей мертвой души создавший пустоту вокруг себя, в конце своей жизни ужаснулся Иудушка и что-то проснулось в нем человеческое, — не пустой, не как гроб живой ушел он в последнюю пустоту. Он долго читал Евангелие фарисейски, невидящими глазами, «выморочным сердцем»; но чудо воскресения коснулось и его, и ожила его душа, когда однажды вдумался он невольно в рассказ о Христе, о «неслыханной неправде, совершившей кровавый суд над истиной».

Для многих читателей временные страницы Щедрина, его отклики на современность, его публицистика более памятливы, чем иные, глубокие и долговечные, свойства его писательской личности. Больше в нем заслоняется меньшим. Эта несправедливость будет когда-нибудь исправлена. Еще ждет своего критика Салтыков-художник и другой расценки своих наследий.

К тому же в наши черные дни, когда совестно перед русским прошлым, совестно потому, что мы его недооценивали и зря осуждали, о сатире Щедрина вспоминаешь холодно и недружелюбно, и кажется она теперь огульной, и несправедливой, и праздной, — и в сравнении с нынешней действительностью как выигрывает осмеянная им действительность прежняя! Нет уже у нас, страждущих жертв революции, симпатии к Салтыкову-сатирику, нет соответственного настроения в нашем покаянно настроенном сердце... Но это не мешает нам признать подлинные заслуги Щедрина и понять, что его сердитость и его сердечность, его злые слова и его доброе слово имели какой-то общий корень, что он много смеялся, но и много страдал и что не только он любил русскую литературу, но и русская литература полюбит его и новым светом, освобожденное от брэнного, загорится впоследствии его побледневшее имя.

